

Pospíšil, Ivo

Nedokončený záměr: Úryvek

In: Pospíšil, Ivo. *Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse)*. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 67-81

ISBN 978-80-210-7277-0; ISBN 978-80-210-7280-0 (online : Mobipocket)

Stable URL (handle): <https://hdl.handle.net/11222.digilib/131638>

Access Date: 25. 03. 2025

Version: 20220831

Terms of use: Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University provides access to digitized documents strictly for personal use, unless otherwise specified.

7. Nedokončený záměr: Úryvek²³

Od září do poloviny října 1835 pobýval A. S. Puškin (1799–1837) ve vesnici Michajlovskoje. Právě tam, v krásném babím létě, přesně 26. září, napsal báseň, která za jeho života nebyla nikdy publikována. Vyšla až po jeho tragické smrti v pátém svazku časopisu *Sovremennik* (1837), který sám založil. Mezi editory jsou napsána jména knížete P. A. Vjazemského, V. A. Žukovského, A. A. Krajevského, knížete V. F. Odojevského a P. A. Pletněva. Báseň má různé varianty, které se liší v drobnostech nebo i v celých strofách. Uvedme na počátku tu podobu básně, jak ji najdeme v první oficiální publikaci v *Sovremenniku*:

*Опять на родине! я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Отшельником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор, и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам покорный обшему закону,
Переменился я; но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо
И кажется вчером еще бродил
Я в этих рощах.-
Вот смиренный домик
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет, уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни утренних ее дозоров. Вот
И холм лесистый, над которым часто
я сживал недвижим, и глядел
На озеро, воспоминая с грустью
Иные берега, иные волны...
Меж нив золотых и пажитей зеленых*

23 Viz kapitolu Jedna báseň jako osud a vyznání z naší knihy *Na výspě Evropy. Skici a meditace k 200. výročí narození A. S. Puškina*. Masarykova univerzita, Brno 1999.

Оно, синяя, стелется широко:
 Через его неведомые воды
 Плывет рыбак и тнянет за собой
 Убогий невод. По берегам отлогим
 Рассеяны деревни; там за ними
 Скривилась мельница, насилиу крылья
 Ворочая при ветре...
 На границе
 Владений дедовских, на месте том,
 Где в гору подымается дорога
 Изрытая дождями, три сосны
 Стоят одна по одали, две другие
 Друг к дружке близко, здесь, когда их мимо
 Я проезжал верхом при свете лунной ночи,
 Знакомым шумом ветер с их вершин
 Меня приветствовал. По той дороге
 Теперь поехал я, и пред собою
 Увидел их опять; они все те же,
 Все тот же их знакомый слуху шорох,
 Но около корней их устарелых,
 Где некогда все было пусто, голо,
 Теперь младая роща разрослась.
 Зеленою семьей кусты теснятся
 Под сенью их, как дети. А вдали
 Стоит один угрюмый их товарищ,
 Как старый холостяк, и вокруг него
 По прежнему все пусто. –
 Здравствуй, племя
 Младое, незнакомое! Не я
 Увижу твой могучий поздний возраст
 Когда перерастешь моих знакомцев
 И старую главу их заслонишь

*От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полн,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
и обо мне вспомянет...*

V třetím dílu Úplných sebraných spisů A. S. Puškina v 10 dílech (Polnoje sobranije sočinenij v desjati tomach, izd. četvertroje, Stichotvorenija 1827–1836, Leningrad 1977, s. 313–314) čteme jinou verzi:

*...Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор – и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я – но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо,
И кажется, вechор еще бродил
Я в этих роцях.
Вот опальный домик
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет – уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора.
Вот холм лесистый, над которым часто
Я сиживал недвижим – и глядел
На озеро, вспоминая с грустью
Иные берега, иные волны...
Меж нив золотых и пажитей зеленых
Оно синяя стелется широко;
Через его неведомые воды*

Плывет рыбац и тянет за собою
 Убогий невод. По брегам отлогим
 Рассеяны деревни – там за ними
 Скривилась мельница, насилиу крылья
 Ворочаы при ветре...
 На границе
 Владений дедовских, на месте том,
 Где в гору подымается дорога,
 Изрытая дождями, три сосны
 Стоят – одна поодаль, две другие
 Друг к дружке близко, – здесь, когда их мимо
 Я проезжал верхом прии свете лунном
 Знакомым шумом шорох их вершин
 Меня приветствовал. По той дороге
 Теперь поехал я и пред собою
 Увидел их опять. Они все те же
 Все тот же их знакомый уху шорох –
 Но около корней их устарелых
 (Где некогда все было пусто, голо)
 Теперь младая роцца разрослась,
 Зеленая семья, кусты теснятся
 Под сенью их как дети. А вдали
 Стоит один угрюмый их товарищ,
 Как старый холостяк, и вокруг него
 По-прежнему все пусто.
 Здравствуй, племя,
 Младое, незнакомое! не я
 Увижу твой могучий поздний возраст,
 Когда перерастешь моих знакомцев
 И старую главу их заслонишь
 От глаз прохожего. Но пусть мой внук
 Услышит ваш приветный шум, когда,

*С приятной беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет.*

Kromě změny interpunkce (místo čárky pomlčka, závorka apod.) a změn velkých písmen jsou zde i změny lexikální, a to i takové, které mění rytmický půdorys básně. Podívejme se však ještě na některé další varianty napsané nanečisto (černovaja redakcija); jsou uvedeny ve stejném svazku ss. 427–429. Po verši „Ни кропотливого ее дозора“ čteme v první verzi toto:

*И вечером при завыванье бури
Ее рассказов, мною затверженных
Как шум привычный и однообразный
Любимого ручья. Вот уголок,
Где для меня безмолвно протекали
Часы печальных дум иль снов отрадных,
Часы трудов, свободно-вдохновенных.
Здесь, погруженный в...
Я размышлял о грустных заблужденьях,
Об испытаниях юности моей,
О строгом заслуженном осужденье,
О мнимой дружбе, сердце уязвившей
Мне горькою и ветреной обидой.*

V druhé verzi:

*Не буду вечером под шумом бури
Внимать ее рассказам, затверженным
С детства мной – но все приятным сердцу,*

*Как песни давние или страницы
Любимой старой книги, в коих знаем,
Какое слово где стоит.
Бывало,*

*Ее простые речи и советы
И полные любви укоризны
Усталое мне сердце ободряли
Отрадой тихой...*

Ро verši „Оно синяя стелется широко“ je:

*Ни тяжкие суда торговли алчной,
Ни корабли, носители громов,
Ему кормой не рассекают вод;
У берегов его не видит путник
Ни гавани кипящей, ни скалы,
Венчанной башнями, оно синее
В своих брегах пустынных и смиренных...*

Báseň měla původně mít tento explicit:

В разные годы

*Под вашу сень, Михайловские рощи,
Являлся я, когда вы в первый раз
Увидели меня, тогда я был –
Веселым юношей, беспечно, жадно
Я прислушивался лишь только к жизни; – годы
Промчались, и вы во мне прияли
Усталого пришельца; я еще
Был молод, но уже судьба и страсти
Меня борьбой неравной истомили.
Я зрел врага в бесстрастном судии,
Изменника – в товарище, пожавшем
Мне руку на пиру,--всяк предо мной
Казался мне изменник или враг.
Утрачена в бесплодных испытаньях
Была моя неопытная младость,*

*И бурные кипели в сердце чувства
И ненависть и грезы мести бледной.
Но здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило
Поэзия, как ангел утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой.*

Odstupme nyní na nějakou dobu od těchto textů a podívejme se na existenciální situaci básníka v okamžiku, kdy tuto báseň píše. Jurij Lotman v monografii o Puškinovi o tomto období uvádí: „Známe-li okolnosti, za jakých Puškin poslední léta života musel žít, mohli bychom si beze všeho myslet, že byl unavený, utýraný, zničený. Únava se opravdu vine jeho tehdejší korespondencí. Bezradnost a sklíčenost dosvědčují i někteří současníci. Mají pravdu potud, pokud se v tom reflektují bezprostřední dojmy očitých svědků, kteří měli možnost nám nenávratně odepřenou – totiž vídat ho [...] Nezasvěcení pozorovatelé ho vídali na plesech, kterých měl po krk a na kterých podle vlastních slov byl nucen klímat a požívat zmrzlinu, v literárních debatách, v nichž ho iritovala tupost partnerů, ve finančních starostech nebo v zápalu literárních konfliktů [...] A přesto právě v té době překypoval myšlenkami. Práce tvůrčího myšlení neustávala ani na okamžik. Naplňovala celou Puškinovu bytost vznešeným smyslem a dodávala mu podivuhodné duševní síly. Život se ho pokoušel zlomit a on jej přetvářel ve své duši v svět vrcholně dramatický a harmonický a ozářený moudrou jasností autorova názoru.“ (J. Lotman: Puškin. Praha 1987, s. 220–221). Vnější okolnosti však byly velmi tíživé. Od nového roku se stal při carském dvoře podkomořím (kamerdiner); pro svobodomyšlného člověka Puškinova typu to bylo víc než ponižující: na zavolání se musel dostavit v uniformě a být přítomen různým dvorským událostem. Moc, která si s ním po léta pohrávala a se kterou si on sám často pohrával, ho pevně a definitivně připoutala k sobě. Rodinné a finanční starosti i tvůrčí krize a mučivé pochybnosti o smyslu vlastní práce přispívaly ke stresové situaci. Puškin bojoval skromnými zbraněmi proti despotii, ale také s ní uzavíral kompromisy a těžce prožíval její nepřízeň.

Jeho zájmy se soustřeďují na uměleckou tvorbu: v samostatném tvůrčím myšlení viděl nejvlastnější poslání člověka moderní doby. Puškinův přítel P. A. Vjazemskij psal, že básník by se mohl ještě dlouho věnovat svým zálibám a spolupodílet se na slávě literatury, ale byl často rozptylován vnějšími vlivy a svými vášněmi. Ale uvnitř se v něm tajila spásná, obranná síla: práce byla pro něho chrámem, lázní, kde se léčily rány, kde se ve zdraví a svěžest měnila bezmoc a zoufalství, kde se obnovovaly rozložené síly.

V roce 1835 cítí Puškin potřebu vzdálit se hluku carského dvora, tomu, co sám nazýval světským shonem, marností a marnivostí (sujeta). Tlak nového čtenářstva, které se objevovalo po porážce rodové šlechty v roce 1825, byl velký a Puškin mu musel vzdorovat.

Žurnáломánie, o které s ironií psal Puškinův přítel P. A. Vjazemskij, ovládla Rusko. Abonent si zaplatí časopis a čeká, že mu poskytne informační obsluhu až do domu, že mu poskytne nikoli otázky jako klasická kniha, podněty k myšlení, ale hotové odpovědi. Puškin velmi dobře postřehl tento nelitostný tlak a vznik nové literatury a snažil se tvarovat své dílo v trendech doby: založil *Sovremennik*, přešel k próze, historické beletrii a historii jako takové, snaží se stačit rytmu doby, zasazuje se o profesionalizaci literární práce. Ale v sobě cítí vnitřní odpor: vyrostl v jiné societě, v jiném čase, jeho chápání literatury je podstatně jiné, Vjazemskij pokládal celou Puškinovu novinářskou činnost za tragický omyl jeho života, za tragické vzepětí, k němuž se básník odhodlal mezi mlýnskými kameny krutých dějin.

Všechny tyto faktory jsou v roce 1835 ve hře. A s nimi dilema, které bylo Puškinovým osudem: bouře, drama na straně jedné a věčné tíhnutí k harmonii na straně druhé. Všimněme si například jeho milostných básní, které míří k důstojné kráse a vyrovnanosti, od povrchnosti vášně k hloubce fyzického a duševního prožitku:

*Ne; mně se nelíbí smyslnost rozběsněná,
když mladá bakchantka vykřikuje a sténá,
přichází o rozum a s vášní šílenou
se svíjí jako had sem a tam v mých ramenou
a tvrdé polibky jak rány zasazuje
a křeče přijetí bezhlavě urychluje!*

*Oč jsi milejší ty, moje tichouunká!
Té slasti mučivé, když klesneš zlehounka
po dlouhém prošení, a dech nám zvolna splývá,
ty se mi oddáváš něžná a zdrženlivá
a studem studená, volání vášně mé
sotvaže odpovíš, ještě ne, ještě ne -
a přec a přec a přec, ač dlouho nechce se mu,
se vztyčí nakonec tvůj plamen proti mému!*
(přel. E. Frynta)

Směřování od neklidu mládí k hlubokému, skeptickému klidu, k porozumění životu, jeho světlým i temným stránkám, existenciálním aspektům lidského bytí, najdeme již u raného Puškina. Je to ono pochopení „obecného zákona“, o němž píše v básni Úryvek. V *Bryčce života* (Телега жизни, 1823) prezentuje podobenství života jako únavné, předem určené cesty, na níž je člověk a čas ve vztahu nepřímé úměrnosti: na počátku je let času – vozky na kozlíku – člověku nedostatečný, nakonec už jen dříme a čas se řítí stále rychleji. Umělecká tvorba vzdoruje času, musí mu vzdorovat, aby byla „kovu trvalejší“ – cesta k tomu vede skrze samostatnost úsudku, skrze odmítnutí davu a jeho stádnosti.

Básníkovi (1830)

Básníku, neprahni po přízni veřejnosti.

Trvání nemají nadšené pochvaly.

Až budou se ti smát a spílat tupci sprostí,

hrdost si zachovej a nebuď zoufalý.

Ty sám jsi pánem svým. Svobodně kráčeš k cíli,

talentem nech se vést, nedbej, co hrozí dál.

Rozviň svou myšlenku, naplň svůj ideál,

odměnu nečekej však za vznešenou píli.

Nejvyšší odměnou bude tvůj vnitřní klid,

když přísně dokážeš své dílo zhodnotit.

Mířils dost vysoko? Jsi spokojený s prací?

Když ano, nedbej nic, že dav ti do tváře

plívá, že svévolně chce oheň oltáře

tvé Múzy uhasit a třínožku tvou kácí.

(přel. H. Vrbová)

Rozpor mezi přijetím okolního makrosvěta i mikrosvěta a hrdostí, vznešeností básníka byl jedním z největších Puškinových traumat: dosíci slávy nyní, stačit tempu doby, přizpůsobit se hladině veřejného mínění a všelikým konjunkturálním módám, nebo zůstat na svém, setrvat ve svém elitním postavení? V úsilí uchovat si samostatnost úsudku

musel jít Puškin často proti proudu, který kdysi hnali i jeho děkabrističtí přátelé. Vzpomeňme na děkabristické projekty sblížení Ruska a Ameriky, na ruské osady v Kalifornii a Tichomoří, na adoraci americké demokracie z pera A. N. Radiščeva, na Tocquevillovu ideu blízkosti Ruska a Ameriky – a proti tomu Puškinova aristokratická recenze na *Paměti Johna Tannera* vyjadřující kritické názory na americkou demokracii. Rozpor mezi aristokratickým individualismem a novým společenským systémem je tu patrný a Puškin jej dobře cítí – sám ještě patří spíše k minulosti než k přítomnosti.

Spolu s koncentrací a zhutněním Puškinovy poezie a prózy se posiluje i existenciální charakter jeho tvorby v „malých tragédiích“, Borisí Godunovovi, Měděném jezdcí a Poltavě a objevuje se motiv šílenství. Celistvost a soběstačnost Puškina jako člověka a básníka neznamenaají, že našel konečnou rovnováhu v sobě a ve světě, ale to, že neohroženě kráčí vstříc jakémukoli narušení této rovnováhy, že hledá spojitost v nespojitelném. Rokem 1835 vyvrcholily vnější a vnitřní rozpory v básníkově životě. Když 7. září odjíždí do Michajlovského, chce znovu vyvolat onu plodnou atmosféru, kterou pro něho podzim měl, a oprýt se o *genia loci*. V pobytu v Michajlovském v září říjnu 1835 se protály siločáry Puškinova osudu a právě zde 26. září dokončil báseň, kterou jeho přátelé zveřejní až po jeho smrti pod názvem *Otryvok*. V některých akademických vydáních je tato báseň zařazena do roku 1833; rok 1835 se definitivně prosazuje v knize Пушкин – Исследования и материалы (Москва – Ленинград 1982). Nikoli neprávem označil Puškinův biograf N. L. Brodskij počáteční verše básně za nezapomenutelné, pokud bude na zemi znít ruské slovo.

Podzim sehrál v Puškinově tvorbě významnou úlohu. Sám chápal toto roční období jako ideální pro tvůrčí práci, působilo na něho konejšivě, vyrovnaně, získával v něm znovu sílu a duchovní rozlet.

V básni **Podzim** (Осень, 1833) to vyjádřil těmito slovy:

*Je říjen. Pod strání už poslední své lístky
hájí z holých haluzí shazuje do trávy,
nad zmrzlým úvozem klene se obzor nízký,
za mlýnem klikatí se potok bublavý,
můj soused, vášnivý nimrod, se denně s psisky,
dřív než se rozbřeskuje, do polí vypraví,
tichý klid doubravy burcuje lovčí smečka
a ozim zdupaný ten nájezd sotva přečká.*

*Teď nastává můj čas. Já nemám jaro rád,
puch, bláto, mokrý led nesnáším odjakživa.
Krev kvasí, rozum spí, na duši smutek pad.
To stokrát milejší mi krutá zima bývá,
panenské závěje a sněhu vlahý chlad,
když saně letí vpřed a svítí luna snívá,
když milá tulí se v kožíšek sobolí
a letmý, horký stisk mi občas dovolí.*

[...]

*Mám tě rád, podzime, když příroda už chřadne
a ještě naposled bohatě ozdobí
zlatem a šarlatem sady a háje chladné,
mám tě rád, tesklivé, větrné období,
kdy slunce zahřívá jen spoře stráně za dne
a v noci přímrazky je jíním ozdobí,
kdy kadeřávcí mlh se honí nad úvozy
a z dálky šedivá zima už kraji hrozí.*

*Mně vždycky na podzim se silněji chce žít.
Jak vidět, ruský chlad prospívá mému zdraví,
najednou tvrdě spím, mám dobrý apetýt,
krev se mi rozproudí a všechno víc mě baví,
jsem mladší, troufnu si i na milostný cit,
zas horu plánů mám a do práce jsem žhavý.
Mé schránce tělesné je to už prostě vlastní
(smím-li si dovolit ten prozaismus v básni).*

[...]

*Na svět jsem zapomněl. Ztichlý a ospalý
hrou fantazie rád nechávám zkolébat se
a Múza najednou přichází z povzdálí*

*a duši rozjitří lyrická inspirace,
krotké sny rozvíří, hlavu mi rozpálí,
volně a svobodně vybuchne v krátké řádce
a nikým neviděn přestoupí můj práh
houf hostů zrozený v mých bujných představách.*
(přel. H. Vrbová)

Mýtus podzimu jako vrcholného tvůrčího období se v Puškinově životě naplnil na podzim 1830. Tehdy Puškin odjíždí dát do pořádku svůj majetek (půdu a „duše“) zděděný po otci; potřeboval finanční úvěr, který by mu umožnil zaplatit věno své nevěsty Natálie Gončarovové (její rodina na věno momentálně neměla a budoucí tchyně nechtěla dceru bez věna Puškinovi dát – Puškin tedy dal rodičům své snoubenky peníze, které byly určeny jemu samotnému). Již při cestě do vesnice Boldina ho zastihly zprávy o epidemii cholery (zachvátila tehdy řadu gubernií i samotnou Moskvu). Karanténa zabránila Puškinovu časnějšímu návratu – místo tři týdnů strá v Boldině tři měsíce a napsal – v odloučení od snoubenky a v neobyčejné inspiraci mírného podzimu – takové množství významných děl za tak krátké období, že to nemá ve světové literatuře obdoby. Kromě korespondence (z níž vynikají listy snoubence vydané roku 1937 – sto let po Puškinově smrti – Sergejem Lifarem v Paříži) to byla próza, lyrika, lyrickoepické partie *Evžena Oněgina* a dramata. V naději na plodný podzim odjíždí na venkov i pět let nato.

Prostor vesnice Michajlovskoje byl spojen s Puškinovým životem výrazně už jednou. 12. července 1824 oznámil ministr zahraničí Nesselrode generálnímu gubernátorovi Estlandskému a Liflandskému, že Puškin je na rozkaz panovníka vyřazen ze služby a že se mu za místo dalšího pobytu stanoví Pskovská gubernie. 1. srpna 1824 cestuje Puškin v doprovodu sluhy Nikity Kozlova z Oděsy. Končí období tzv. jižního vyhnanství, nuceným místem pobytu se mu stala vesnice Michajlovskoje.

Léta 1824–1826, podzim v Boldině 1830 se jako by protnul na podzim 1835 ve velkém očekávání. Ve 20. letech také přišel na sever ze žhavého jihu a hrozily mu těžké deprese, ale v navyklém řádu, obnovené harmonii je v Michajlovském překonal. Podzim byl pro něj vždy plodný. Situace ve 30. letech však byla podstatně jiná: rodinné potíže, hořkost z činnosti u dvora a také finanční starosti, obava, že kdyby zemřel, rodina zůstane bez prostředků, neboť život v metropoli byl velmi nákladný. Do Michajlovského odjel „vydělat peníze“. Puškin ztrácí čtenáře, jako aristokrat je pro plebejce méně přijatelný. V té době také dostává anonymní dopis, který ho viní ze zrady ideálů mládí a z podlézání dvoru. Puškin si od cara vzal čtyřměsíční dovolenou, ale už 23. října se vrací do Petrohradu. Bezprostředním důvodem byla zpráva o nemoci matky, hlavní příčinou patrně stesk a deprese, které ani podzim nepřehlušil. V Michajlovském pracoval na *Egyptských nocích* a *Marii Schoningové* (byly

publikovány posmrtně v *Sovremenniku*), zamýšlel pokračovat v *Evženu Oněginovi*. Lyrická čísla v Puškinově tvorbě byla ve 30. letech méně častá, ale byla hutná, myšlenkově hluboká. V básni *Otryvok* se v toposu Michajlovského proťalo několik časů a prostorů: vzpomínky na „jižní vyhnanství“, pobyt v Michajlovském v letech 1824–26 i „boldinský podzim“ se šťastně setkaly s básníkovou depresí a potřebou nového vzepětí.

Text, který Puškinovi přátelé publikovali po jeho smrti v roce 1837, se tak ocitá nejen v souřadnicích básníkovy života, ale také v soukolí jiných textů – jeví se tak jako intertext (mezitext) navazující společnými místy (topoi, loci communes) na jiné Puškinovy básně a jejich motivy. Text ze *Sovremenniku* je z předložených variant nejhutnější, nejucelenější výrazově a rytmičky nejpresnější. Proti variantě ze Sebraných spisů je syntakticky kompaktnější, sémanticky konkrétnější, stylisticky obratnější: Ни кропотливого ее дозора (Ни утренних ее дозоров); Я проезжал верхом при свете лунном (Я проезжал верхом при свете лунной ночи); Знакомым шумом шорох их вершин (Знакомым шумом ветер с их вершин); syntaktické vyčlenění verše „Где некогда все было пусто, голо“ závorkou ve verzi Sebraných spisů, syntaktické vyčlenění sousloví Зеленая семья (v *Sovremenniku* „Зеленую семьей кусты теснятся“). Další uvedené texty dokládají mnohomluvnost básně a snahu o její dořečenost, explicitnost. Název *Otryvok* je v tomto smyslu příznačný (pod tímto názvem pak už báseň vydávána nebyla; obvykle se uvádí počátečními slovy (...вновь я посетил); přesto však je svým způsobem kompaktnější, ucelenější. Uvedené verze mají totiž za východisko i vyústění lyrický subjekt, jsou vzpomínkově laděné na počátku i na konci. Je to v podstatě romantická elegie (jímavé vzpomínání na dvě různá období, která prožil v Michajlovském, a konstatování ochranné, spásné úlohy poezie). Verze ze *Sovremenniku* se z rámce tradiční elegie vymyká: má totiž dvě výrazně autonomní části – minulostní (depresivní) a budoucnostní (vzestupnou).

Báseň má půdorys pětistopého nerýmovaného jambu – blankversu (rusky se překládá kalkem „белый стих“).

Опять на родине! я посетил

X 'X/ X 'X/ X 'X/ X 'X/ X 'X

Тот уголок земли, где я провел

X 'X/ X 'X/ X 'X/ X 'X/ X 'X

Отшельником два года незаметных

X 'X/ X 'X/ X 'X/ X 'X/ X 'X/ X

Další zvukově výraznější místo je součástí obrazu mlýna, který jen ztěžka otáčí lopatkami: *По берегам отлогим / Рассеяны деревни;/ там за ними/ Скривилась мельница, насилиу крылья/ ворочая при ветре...* Nápadný je střídavý výskyt likvid **r** a **l**,

Příznačnou jazykovou vrstvou jsou staroslověňismy a archaismy vyskytující se zejména ve vzpomínkových partiích – patří k „vysoké“ stylové vrstvě (*отшельник, объемлет, сиживал, златых, брегам*). Pětistopý nerýmovaný jamb – tedy verš delší než Puškinem kanonizovaný čtyřstopý jamb – má silnou tendenci k prozaizaci, jak je pro pozdní básníkově dílo typické. Vytváří vhodný půdorys k zamyšlení, kontemplaci, myšlenkové přesahy a konfrontace, na nichž celá báseň sémanticky stojí. Tomu odpovídá napětí mezi veršem jako jednotkou sui generis a sémanticko-syntaktickou výstavbou vět ve verši – odtud některé přesahy: „... где я провел/ Отшельником; „и много/ Переменилось в жизни для меня“; „над которым часто/ Я сиживал...“

Báseň je výrazně rozdělena na dvě části: základní nálada je v obou koncentrována v **básnických obrazech**. První část je postavena na kontrastu přítomnosti (doby výpovědi) a minulosti (vzpomínky). **Vrstva vzpomínek je zdvojená** (jakési „vzpomínky na vzpomínky“): je to vzpomínka na pobyt v Michajlovském v letech 1824–26 („Уж десять лет ушло с тех пор“) a zároveň vzpomínka na to, jak bylo vzpomínáno na „jiné břehy a jiné vlny“, tedy na pobyt na jihu Ruska („...вспоминая с грустью/ иные берега, иные волны...“). Konfrontace však není jen vnějšíková. Je zde také konfrontace vnitřní, v duši básníka podbarvená spodním proudem plynoucího času, konfrontace mládí a středního věku (pobyt na jihu – tehdy bylo básníkovi něco přes 20 let, nucený pobyt v Michajlovském ve věku 25–27 let, pobyt v roce 1835 ve věku 36 let). Stará chůva Arina Rodionovna Matvejevová je už mrtvá (zemřela 1828) – viz verše „Где жил я с бедной нянею моей. /Уже старушки нет, уж за стеною/ Не слышу я шагов ее тяжелых,/ Ни утренних ее дозоров“, ale současně se mění něco uvnitř básníka: „и много/ Переменилось в жизни для меня,/ И сам, покорный общему закону,/ Переменился я...“ Změnilo se něco nikoli v básníkově životě, ale „v životě pro něho“ – vidí tedy život jinak. Obecný, všeobecný zákon, jemuž se podrobil, nebyl zákon společenský (podrobení nutnosti být carským podkomořím), ale přírodní, biologický: zákon života a smrti. Svět je tudíž nahlížen sub specie aeternitatis. Sémantickým jádrem první části, která končí veršem „Ворочая при ветре...“, jsou obrazy rybáře, který za sebou vleče ubohý nevod, a mlýna, jenž jen ztěžka otáčí svými křídly – podobenství únavy a deprese.

Elitní individualita aristokratické osamělosti hozená jako výzva davu v *Pomníku*, až příliš hrdá slova o vlastním významu, jsou nahrazena důstojnou pokorou: smyslem existence básníka je, aby ho další generace přerostly a alespoň si na něho vzpomněly – současně však nemizí stín osamělého tvůrce, starého mládence-borovice, místo, z něhož se básník vzeplal k novému pochopení své existence. Kategorii změny, posunu, vývoje („Когда перерастешь моих знакомцев/ И старую главу их заслонишь/ От глаз прохожего...“) však prolíná i obraz sblížující, opakující se: portrét mladého člověka, který pln příjemných a veselých myšlenek se vrací z přátelského posezení (jako by Puškin potkal sama sebe, když mu bylo o deset let méně) a vzpomene na svého předchůdce,

který byl – stejně jako on – pln radostného očekávání, čistých ideálů a ovšem iluzí, které život smetl. Bez těchto mladistvých představ však nelze žít...Svět se mění, ale hodně toho zůstává, opakuje se – změna v opakování, opakování ve změně. Poetika zrcadlení (typická i pro *Evžena Oněgina*) v prostoru a v čase (Michajlovskoje ve dvou dimenzích – 1824–26 a 1835, jih Ruska, dvě plodné borovice a osamělý strom, stárnoucí básník a mladý člověk z budoucnosti) stojí v půdorysu této básně.

Obrazy rybáře a mlýna z první části jsou kontrastně vyvažovány obrazy tří borovic a potomstva dvou z nich. V této obrazné struktuře Puškin vlastně implicitně doložil „předávání štafety“ a upření zraku na novou generaci: obraz jako podobenství a jeho explikace a konkretizace jsou charakteristické pro lyriku Lermontovovu (obraz plachty v moři, obláčku a útesu, rytíře v brnění). Deklarované generační vzepětí je tak doprovázeno vnitřním, hlubinným vzepětím celého obrazného půdorysu básně. Uzavřená elegičnost a bilančnost (životní bilance básníka, který ztrácí síly a cítí tlak nových generací) tak ústí ve vztlakový průlom.

